





## ОТ РЕДАКЦИИ

Мне как-то довелось говорить с опытным издателем. Помимо прочего, он заметил, что «молодую» прозу издавать хотел бы, но уж больно это рискованно и муторно — неизвестных авторов продвигать тяжело, книга будет плохо продаваться, в премии вряд ли попадет, и вообще, мало ярких писателей сегодня. Рентабельнее печатать научно-популярную литературу про мозг, про революцию, про смерть, про средневековье, про еще что-нибудь такое прикольное, чтобы сама тема читателей залучала. Это все, конечно, верно, но я позволю себе задать вопрос: а вдруг сегодня мало ярких издателей, а не писателей?

*Д. Карелов*

Мне частенько попадаются на глаза критические вариации на тему «смерти» современного литпроцесса, говорящие лишь о близорукости (или слабосильности) его же собственных тягловых лошадей. Подобная, полная упадочного кокетства, риторика суть беззастенчивое признание заскорузлости магистральных стратегий — как издательских, так и литературно-критических.

Бесконечные разговоры о кризисе дискуссий, собственноручно низведенных книжным истеблишментом до твиттерных перепалок, о дефиците «интересных писателей» — следствие брезгливости в отношении косных литературных агентов к нишевой прозе. Последняя же, ищущая пятый угол в захламленном пространстве литературных порталов, нуждается в платформе, в беспристрастном диалоге, тогда как литературная магистраль бессовестно молчалива, либо по-старчески истерична.

«Внеклассовое чтение» — автономная зона, возвращенная на периферии литпроцесса, служащая при

этом его форпостом, свободная от идеологической ангажированности среда (о чем, собственно, и сообщает название проекта). Нас мало интересует, какой должна быть литература, ее вписываемость в тот или иной контекст, куда интересней, какой она может быть, ее самобытность, формальная новизна.

Несмотря на то, что настоящий номер носит репрезентативный характер, являясь, в сущности, манифестацией нашего вкуса, все это в большей степени — приглашение к диалогу, к непосредственному участию в том, что мы самонадеянно полагаем истинным литературным процессом. Да и о вкусах, думается нам, спорить необходимо, потому как новое зачастую кажется рудиментарным (и наоборот), а динамика самоценна.

*Т. Свинцов*

БЭД ТРИП ТУ БАЙКАЛ (ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА)

*Митя Савинцев*

Зимний вечер. Снаружи мороз сковал все и вся и вот уже третью неделю настойчиво стучится в мое окно. Я, голый, скрючился на раскладушке, дрожу. Услышать стук в окно ночью страшно. Стучит и стучит. Не то что спать — жить мешает. Сбравшись с силами, иду к окну. Иначе так и буду трястись за свою жизнь, пока не умру со страха. Сквозь дурацкий узор на окне ничего не видно, только какой-то силуэт. Я распахиваю окно, и вместе с январской стужей в комнату важным оводом влетает грузный Екушевский. Он не оставляет следов ни на сугробе внизу, ни на запорошенном отливе. Своим здоровым задом он надламывает створку. С тех пор закрыть окно можно ровно настолько, чтобы в комнату могла проникнуть полуночная кошка. Екушевский стоит посреди комнаты, в зеркале не отражается, но объяснять, почему он лезет через старое облупившееся окно, когда есть прочная титановая дверь, на которую я разве что не молюсь, не торопится. Под медленное таяние занесенного на мой ковер снега Екушевский вываливает на меня будоражащий воображение план. Я, наг и беззащитен, обильно выдыхая пар, вынужден согласиться по всем статьям.

И вот летом мы — лысеющий сибарит Екушевский и нервный астеник я — уже пыхтим в поезде — спешим к великому озеру Байкал. Я — на чужой полке — без билета, поэтому своей нет — прямо из горла пластиковой бутылки глотаю сгущенку — ее владелец, разумеется, еще спит — подслушиваю, как в соседнем отсеке, никого не стесняясь, Екушевский домогается какого-то малолетка.

За окном поля, тополя и разные домовладения. Утро. Екушевский возвращается, весело гремя мелочью в карманах своих шароваров. Напомню, что ранее мы

лишились моей последней копейки (выпущенной под какой-то юбилей) на фоне неприятного случая в Н-ске. Тогда наш сиюминутный душевный порыв мчатся верхом на осликах из зоопарка по ночным улицам наперегонки с ветром был грубо освистан, а затем оценен в круглую сумму взятки местными сотрудниками ДПС. Сейчас ситуация изменилась. «Откуда богатство?» — вопрошаю я. «Да стрельнул у пацана на сигареты», — отвечает Екушевский, а сам подмигивает, мол, слямзил из беспризорной куртки. Объявив: «Пошел покурить!», Екушевский, насвистывая, удаляется в сторону тамбура, но не курить (Екушевский вообще не курит), а просто промышлять, догадываюсь я. Немного погодя я как будто следую за ним, но вовремя сворачиваю в туалет. В тамбуре Екушевский просто, без изыска общается с такой толстозадой, так похожей на его мать проводницей и ненароком трогает ее за разные выпуклости, коих немало. В туалете я прячусь. Некоторым людям, когда они остаются наедине с собой в каком-нибудь тесном пространстве, может стать невмоготу, но я знаю верное средство от одиночества: постоянно смываю воду и мою руки в раковине. Тут ко мне начинает кто-то ломиться, неистово дергает за ручку, бьет в дверь прямой ногой. Судя по голосу, все тот же Екушевский. «Жека, — он всегда обращался ко мне не по моему имени, объясняя, что это неуместно в тот или иной момент, — давай реще, там мужика вырвало, ну?» Но вырвало там не мужика; мне это стало понятно задолго до того, как я приблизился к месту происшествия. Да и мужик, будучи в курсе событий, отвергал все обвинения, возмущался, поджимая губы и сжимая кулаки. Но его печаль оттеняла незнающая границ обида Екушевского, который размахивал железнодорожными стаканами и вопил со скучающим

лицом. Снующие проводники уже занялись делом: кто принес тряпку, кто ведро, кто приказы раздавал. Екушевский, продолжая вопить, тоже взялся помогать: окунул тряпку в ведро и заправски хлестанул ей по лицу обидчика, от чего тот подскочил и оставил вмятину в крыше вагона. Началась какая-то толкотня. По отсеку залетали волосатые руки. Спустя невыносимо долгие три минуты нас выпроводили с нашего поезда с чужими вещами. Кроме того, у Екушевского забыли изъять промасленные крепления железнодорожного назначения. «Подбросили враги здравого смысла, — уверял Екушевский и, помещая безделушки в карман, наставлял: — Поспешишь — людей насмешишь». Мы смеялись весь путь до ближайшей станции, ржали как кони, широко раскрывая рты. Я ржал через смоченное полотенце (собственность РЖД), которое я прикладывал к опухшей скуле. «Ладно, хорош!» — в один момент Екушевский посуровел, но тут же загоготал пуще прежнего.

На станции было безлюдно и беспредметно; промышлять было нечем. Простояв так минут десять, я издевательски предложил: «А покатали на телеге?» Екушевский, услышав мою вопросительную интонацию, слез с одинокой березы и замахнулся, целясь в мост очков, но и впрямь увидел телегу, направляющуюся к станции. Водитель телеги — дед в тулупе из хрусталя — помахал нам рукой издали и, подъехав поближе, завел разговор (тоже издали): «А, это, ребятня, это самое не видали? На Читу уже проехал?» Я сразу закивал головой, задакал, зная, что деревенские любят умных чуть больше, чем городских. Дед было закручинился, но Екушевский, уже усевшийся по-королевски в повозке, задорно хлопнул его по спине и приказал: «Ннооо, па-шла!» Дед тут же напрягся, позабыл

о своей племяннице в Тайшете, которой собирался передать свежей рыбы, вспомнил недавние времена крепостничества и покатился с нами до деревни. Иногда он косил свой единственный глаз на мои резиновые тапочки и однажды даже попытался обидеть: «Такой старый! А не развалишься?» Еще деда интересовало, чьих мы были. Екушевский, в свою очередь, высосал из пальца имена и обложил ими ямщика. Это называется «зашел с козырей». Заслышав очередное имя, я изрекал какой-нибудь очередной вопрос. Например, Екушевский говорит:

— Серега Молостов!

Я говорю:

— А! Это же у него пес шелудивый?

Эти сентенции действовали на нашего спутника магически. Так перед ним по ниточке разворачивалась какая-никакая история, оправдывающая наше существование. Дед понимал, что мы брешем — что мы были ничьи, но боялся вставить слово. «Сенокос-то у вас как? В самом разгаре?» — внезапно спросил господин Екушевский, яростно подмигивая мне. Значитса, колосники захотел прочистить. Ответа ни от кого не последовало, только лошадь, услышав про сено, прибавила ходу, и мы понеслись так быстро, что я размечтался: «Вот бы сейчас взять и перевернуться насмерть!»

В начале координат деревни мы снизошли с телеги. Екушевский заявил, что пошел на разведку, подразумевая, что собирается разнюхать, где дед прячет самогон. А я заявил, что пошел в магазин, подразумевая, что захотелось отведать чего-нибудь вкусного. Деревня оказалась не на шутку продвинутой. В магазине самообслуживание, как в городе, а понтов даже больше. Торговый зал, и без того маленький, в своем центре содержал груды сырых паллет с плесенью, на которые

иногда ставили продукты. Я прошел магазин вдоль и поперек, как того требовала ситуация отчаянного безденежья, и остановился у холодильника с молоком. Выбрав самый старый кефир (который, кстати, все еще был годен к употреблению, а «момент истины» должен был наступить в следующем году), я двинул на кассу, улыбаясь самому себе. Кассирша взяла упаковку, поскоблила ногтями грязную шею, «пробила» кефир и уставилась на мою седовласую ноздрю. Догадавшись, чего она хочет, я принялся шарить по карманам. Да, Екушевский так и не поделился награбленным, да и рассчитывать на это не стоило. Вот и стою я перед скучающей кассиршей, ощупываю ногу через дырку в кармане. Тем временем в магазин заходит девочка, и мое внимание сразу заостряется на ней. Молодая, но уже с очертаниями веселой молочницы. Я тут же обозначил свой интерес в лучших традициях русской классической литературы: «Зин, сколько лет, сколько зим, айда потом к нам на сеновал». Ответ был бесхитростным и емким, как белый флаг: «Козел чахоточный!» В этом было что-то до боли знакомое, что-то от моей безответной первой школьной любви. Что-то похожее на бесхитростный и емкий удар ниже пояса. Я метнулся на улицу, жестом показав продавщице, что некогда мне с ней рулады наяривать.

Екушевский уже разлагался на траве, прямо как будто он только что с горбатой горы спустился: с колоском в зубах подле своего внезапного любовника — местного дембеля на ржавом драндулете. Кажется, дела у них шли хорошо, весело. Екушевский вкушал яблочко и, увидев меня, запустил вторым. «Лови момент!» — встретил он меня переполнявшей его радостью. От несомненно червивого яблока я отмахнулся, а к Екушевскому обратился: «Слышь, буржуй, напомни,

что там говорить девчонкам?» Екушевский никогда не жаловался на недостаток женского внимания, хотя ничего дельного из себя не представлял. Он быстро дал свою независимую оценку: «Ты че, Вась, забыл, что ты приемный? Иди зубы вставь сперва, а то непонятно, что ты мычишь там». Зубы вставлять было некогда, потому что из сельпо уже выходила моя старая подруга. Начал я с приветствия: «Здорова, шшш...», и за такой змеинный подкат сразу отхватил от байкера, который, наслушавшись нашего разговора, сложил два и два и разрешил ситуацию по справедливости, как если бы эта девчонка была спутницей всей его жизни или как минимум этой нелегкой недели. Пообещав найти меня со своими друзьями, когда я очнусь, мотоциклист укатил со своей зазубой в коляске, обдав меня пылью и презрением.

Екушевский и пальцем не пошевелил. Зевнув, он сообщил, что дед, который нас вез, строит из себя тяжело душевнобольного в доме с недостроенной крышей и никого не принимает, поэтому самогон придется добывать при помощи смекалки. Эти слова вселили в меня энтузиазм, и, не вставая в полный рост, на четвереньках я помчался как ни в чем не бывало в сторону, которую указывал Екушевский. Сам же он пошел следом вразвалочку, имея вид самый провинциальный и ничему не удивляясь, чтобы сойти за своего. И, действительно, селяне не давали ему ходу. Этот перекинется с ним парой слов о том, о сем, другой расскажет про грузди и боровики, какая-то бабка пригласит на крынку молока, малышня покажет еще не замученного ужа, а банда байкеров заслушается врачами о его несуществующем гараже и городском быте. Пока Екушевский миновал одно жизнеутверждающее событие за другим, я с грехом пополам пролез через, точнее, сквозь забор,

поставленный вкруг дома с недостроенной крышей, чтобы затем метнуться в деревянную будку с дыркой в полу. Там я почувствовал себя в безопасности, как тогда в поезде, как всегда. Попробуй вскрой такую дверь! Эх, хоть намаз совершай!

Я облизывал замороженное мясо, стибренное в магазине, под вой бурого волкодава снаружи. Пес как завелся с самого начала, так все никак не мог угомониться. Это мешало мне дышать на мясо, чтобы хоть чуть-чуть подогреть его. Спустя час-полтора к клозету приблизился Екушевский в компании своих новых раскованных друзей. «Ээ, бурят, давай быро вылазий, покумекать надо», — слышался наглый тон деревенщины. Я не был бурятом, в отличие от Екушевского, который даже на каком-то национальном празднике давал интервью как представитель народа, и от несправедливости горько заплакал. По-азиатски хитрый Екушевский объявил, что сейчас он покажет настоящего городского педофила, и торжественно распахнул двери.

Я, как и вы, надеялся до последнего, что сейчас произойдет чудо, и я буду спасен. Но нет — я, продолжая рыдать, на собственном примере доказал всем осатаевшим жителям деревни (а на праздник насилия пришли именно все) хрупкость бытия. Кровь хлынула из меня, обильно сдобрив жаждущую землю, и это привело в восторг местных детей. Они демонстрировали изощренные способы причинения нечеловеческих страданий при помощи железных прутьев и шарикоподшипников, а более опытные мужики в разноцветных плащевых куртках, напротив, без каких-либо подручных средств с усердием втапывали меня в грязь, пока настроение у меня не стало совсем подавленным. Больше всего огорчало то, что прямо на глазах у той девочки из сельпо, — да, именно той, которую я, как

вы помните, буквально несколько минут назад уверял в своей способности разорвать всех одной левой,— мое лицо разбилось как фарфор на несколько маленьких лиц, а зубы рассыпались по огороду. Как и в прошлый раз, Екушевский в избиении играл роль беспристрастного наблюдателя. Его чеширская улыбочка отчетливо всплывала у меня перед глазами, даже когда образы недоброжелателей стали размытыми. Я твердо решил, что никогда с ним больше не заговорю и не только потому, что челюсть мне сломали еще в начале расправы, а сама она вполне могла привести к логичному летальному исходу. И без этого я был уверен, что наши дороги разошлись окончательно.

На небо забралась туча, а когда она уползла, солнца уже видно не было: пугливая тварь запряталась за горизонтом, предав все живое. Я лежал, уткнувшись лицом в лужу своей немощности, смешивающуюся с лужей дождевой. Тело истошно напоминало о своем существовании, пошевелиться я не мог, но если бы и пошевелился, то, наверное, тут же скончался. В луже на мгновение отразились женские ноги, и, несмотря на обстоятельства, я позволил себе подумать о вечном. Видимо, это не преминуло сказаться на моей харизме, потому что женщина пробасила: «Иди ты в задницу, калич!»

Я продолжал прислушиваться к темноте, а темнота мешала мне слушать. Одна саранча из мириад забралась мне в ухо и нагло застрекотала там как пулемет. В голове начали очередями проноситься мысли, не дававшие мне спать по ночам: опять вставлять зубы, есть хочется, отмудохали, Екушевский пьет и не делится, паралитик гребаный, ну за что... Где-то рядом уронили ведро с водой, и брызги спугнули саранчу. Это был Екушевский. В руках он держал букетик пионов, который ранее его друг дембель подарил кому-то от большой любви. Те-

перь, поделившись своей любовью, он храпел пьяный где-то за баней, а Екушевский умело хлестал новоиспеченным веником по своим ляжкам агрессивных комаров, с молодой удалью звенящих в воздухе.

— Встань и иди.

Я мигом поднялся на ноги и зашагал навстречу товарищу. Тьма была египетская, но огонек сигаретки в зубах Екушевского служил мне ориентиром. Движение не ощущалось: расстояние между мной и огоньком было неизменно, а кроме огонька ничего видно не было. Мои босые ноги были во влаге: то ли от росы, то ли от того, что я ступал через колючие заросли. Екушевский беззаботно ворковал о чем-то своем на своем же языке. Возможно, я спал.

— Вот и Чимкент показался.

Я испугался и открыл глаза. К счастью, я и правда спал или просто отключился, продолжая лежать ничком в деревенской грязи. Екушевский курил и прищуривался. Придумав шутку под стать своей воспитанности, он усмехнулся и аккуратно положил на мою спину два пиона:

— Сань, на Байкал-то едем или как?

Я утробно застонал. Захотелось чего-то, а чего — непонятно. Все ведь есть, непонятно только, у кого: у меня или у Екушевского. Вот он стоит, рассказывает про свои сегодняшние успехи. Как он случайно опрокинул лейку и полил какие-то грядки на огороде, за что благодарная хозяйка поднесла ему маленького пищущего котенка. По пути на реку он встретил какую-то девочку и вручил котенка ей. Ее отец тут же пригласил его к столу отведать зарезанного в столь подходящий час барана. На празднике ненароком выяснилось, что Екушевский служил в одной части с каким-то упырем в Таджикистане, и этим он сразу завоевал всеобщее

уважение. Екушевский внезапно прервал свой рассказ, затянув какую-то песню. Где-то вдалеке затарахтел мотор мотоцикла. Я поежился и осознал, что паралич как будто отступил. Екушевский молча наблюдал за мной, по-прежнему прищуриваясь. Где-то гроыхнуло, и Екушевский шагнул вместе со своей тенью куда-то, оборачиваясь. Яркий свет врезался в мои глаза так, как будто прямо перед моим лицом поставили два мощных прожектора. Я попросил:

— Жень, ты не мог бы солнце выключить?

Время в этот момент, похоже, топталось на месте. Наконец, Екушевский окинул взглядом окружающую среду и поинтересовался:

— Ты баран? Сейчас ночь. Слышишь? Птицы не поют.

Это была правда: птицы не пели. Снова прогремел гром, мир поежился, и воцарилось какое-то безумное молчание. Я попытался выдвинуть предположение:

— Тут местность такая. Птицы ее избегают.

— Вот дурак. Ты погляди кругом. Ночь на дворе.

Я осмелился разжать глаза, и по ним тут же полоснуло бритвой. Показалось, что мои глазные яблоки лопнули, и из них выскочили косточки. Я закричал.

Екушевский хмыкнул и ушел. Идти я не мог, но лежать было страшно, поэтому все же встал и, не разбирая дороги, наугад побежал за товарищем, словно и не было у меня переломов и размозжений. Я то и дело оступался, за ноги хватили какие-то корни, похожие на лапы пакостливых демонов. Пахло раскаленной ночью, кружилась голова. Екушевский все ускорял ход, содрогая землю своими исполинскими шагами, и не обращал внимания на меня. Мы шли и шли, не знаю, сколько, не знаю, куда. Вконец обессилев, я опустился на четвереньки и, обливая сухую полынь потом, принялся скулить:

— Жень, зачем же это мы так несемся и куда? Зачем все это? Зачем мы подались в какой-то лес? Мне к врачу надо. Мне тяжело, я стар, меня избили, поругали. А мы в лес.

Екушевский, оказавшийся в двух шагах перед моим телом, отозвался незнакомым голосом:

— В лес...—И, добавил многозначительно:—По грибы.

Затем он впервые за свою жизнь удивился:

— А как ты догадался, что мы в лесу? Ты ж ничего не видишь.

— Я его узнал по поваленным деревьям,— рискнул я проявить свою смышленность.— А в лесу знаешь еще что? Ничего хорошего! Ни черта непонятно, тропинки путаются, извиваются и тебя извивают, крутят, за нос водят. Деревья из-под земли вырастают и падают, ты только отвернись. Еще на ветку напорешься, не заметишь, хоть смотри на нее обоими глазами. Это же какая-то ерунда, бессмыслица!

Речь отнимала у меня больше воздуха, чем ходьба, но жизнь уже покинула ноги. Теперь она сосредоточилась твердым мускулистым телом в языке, и, полагая, что я жив, пока говорю, я говорил о самом волнующем:— В лес раз зайдешь, уже не выйдешь. А если выйдешь, то обнаружишь, что снаружи то же самое, что в лесу, началось, только хуже. Пока ты не глядел, все поменялось. Зацепиться бы за твердь какую-нибудь, да нет ее! Только тебя все цепляет!

Екушевский, наверное, уже ушел и не слышал мои проповеди на коленях. Проклиная ослепивших меня врагов, я подался телом вперед, чтобы лечь на землю и, наконец, забыться. Впереди внезапно оказалась пустота, обрамленная песчаной поверхностью, по которой я начал безвольно сползать куда-то. Было по-прежнему страшно, но я уже не видел смысла звать на помощь.

Екушевский поди уже достиг берега нашей конечной цели — священного озера Байкал,— и омывает свое безразмерное, бесформенное тело в его студеньких водах. Его более не заботят никакие мелочи, отравляющие жизнь обычного путешественника: ни дорожная пыль, ни острые ракушки, ни душньные баргузины.

Но я ошибался. Тишь и тьму разбил знакомый голос, напомнивший, что его обладатель — бурят. «Я — бурят». Неважно, почему Екушевский обратился к своей невразумительной мантре, главное, что он не ушел без меня, не оставил в трудную минуту, значит, есть надежда. Чтобы не обидеть и не спугнуть надежду, я скорее подтвердил:

— Да-да-да, ты бурят, Жень, как скажешь.

— Слышали? Он подтвердил,— победоносно произнес Екушевский.— Уговор есть уговор.

В округе, перебивая друг друга, защебетали какие-то неведомые птицы. Их когти хищно впились мне в лопатки и грубо подняли на ноги. На фоне таких резких перемен моя мимолетная радость сменилась испугом. Голос Екушевского подтвердил мои опасения:

— Ну все, Стасик, приехали.

— Кого приехали? — Я дрожал, хотя по спине у меня бежал горячий пот.

— Китайцы приехали. Старшие братья бурятов,— Екушевский посмеивался. Теперь я стал понимать, что то было не щебетанье.— Еду кататься на танке.

— Это правда? — тихо спросил я. Пожалуй, стоило вместо этого задать чуть более конкретные вопросы, например, как мы попали на китайскую границу, пересекли ли мы ее, и, если да, каково отношение китайского законодательства к такого рода пересечениям; возможно, нас экстрадируют прямо на Байкал. Да только правда была непредсказуема.

— А мы не на границе, балдень,— огрызнулся мой лучший друг.— Не слышу твоих слов благодарности. Мы на Байкале.

Я не спешил с благодарностью. Почему-то вспомнилась мудрость прошлого утра: «Поспешишь — людей насмешишь». Тем более, Екушевский явно не договаривал. Я решил дождаться окончания этой театральной паузы, чтобы Екушевский наконец сообщил развязку своего несмешного анекдота:

— Только ты его и не увидишь! Китайцы пришли, вода ушла. Селенга!

Эти слова заставили меня узреть, хоть я и по-прежнему был слеп. Моя извечная мечта испарилась в тот момент, когда я протянул к ней руку. На мою душу со всей присущей бескомпромиссностью обрушилась судьба — на этот раз многотонной тяжелой артиллерией, за которой по высохшему дну озера следовали китайские военные, застегнутые в защитные комбинезоны, и путь им освещал вздымающийся гигантский гриб. Екушевский обзирал происходящее с достоинством заправского генерала, ничему не удивляясь, и не унывал. Теперь он будет пионервожатым.

— Почему же это ты пионервожатый? — мое обожженное обидой лицо снова намокло от слез.

— А потому, что все пионервожатые в душе немного дети,— тепло улыбнулся Екушевский и ушел.

Меня же оторвали от земли и, раскачав, бросили как мешок с костями, в сортир — тот самый, в котором я когда-то прятался на огороде у деда. Теперь же его повалили на бок и небрежно скинули в вырытую на дне священного Байкала яму. Халтурно закопав импровизированный саркофаг, китайцы отправились догонять солнце и вскоре скрылись за горизонтом, оставляя весь обман и всю недосказанность позади.